

Мемуары Марии Клавдиевны Тенишевой «Впечатления моей жизни» были написаны в эмиграции и опубликованы уже после ее смерти в Париже. Книга представляет собой настоящий роман – историю жизни одной из ярчайших русских женщин своей эпохи, историю ее славы и ее одиночества. Ниже приведены отдельные фрагменты воспоминаний – пунктирная линия судьбы с раннего детства до новогодней ночи 1917 года.

(Источник: http://az.lib.ru/t/tenishewa_m_k/text_0010.shtml)

Детство

Я боялась матери, трепетала перед ней. Ее черные строгие глаза леденили меня... Мне было жутко...

Еще вспоминается... Я больна, лежу в своей кроватке под белым кисейным пологом. Давно ли лежу, не помню. Мне очень неможется... Голова горит, то холодно, то жарко, то дремлетесь... Очнусь – мысли путаются, ничего не помню... В комнате полумрак. Лампадка теплится. Няня спит на огромном клеенчатом диване, на котором я люблю скакать... Иногда зову няню шепотом. Та не слышит. Я безропотно смиряюсь. Опять лежу, гляжу и куда-то уйду, точно потухну...

Раз в такую пору, когда лампадка тихо-тихо теплилась, я лежала с полузакрытыми глазами... Вдруг над моей головой послышался шорох... Подняла глаза и обмерла: стоит надо мною мать, отодвинув рукой занавеску... Черные глаза холодно глядят. Другой рукой она провела по моему горячему лбу, медленно нагнулась... долго глядела на меня и тихо поцеловала...

Что-то дрогнуло во мне, сердце сладко защемило. В порыве небывалого счастья, обвив руками шею матери, я страстно прижалась к ее щеке воспаленными губами...

Это длилось мгновение...

Это был, кажется, единственный раз в моей жизни, что я обняла свою мать. Она никогда меня не ласкала.

Как-то раз она *<подруга Тата>* мне говорит:

– А ведь тот, кого ты зовешь папой, тебе вовсе не папа.

– А кто же он?

– Теперешний папа – муж твоей мамы, но ты не его дочь.

– А кто же мой папа?

Твой настоящий папа не был мужем твоей мамы, она его просто так любила.

Сердце застыло во мне, в висках застучало... Я старалась понять тайный смысл ее слов, но я была слишком мала, что-то ускользало...

<Машу нашли в глубоком обмороке, на следующий день она от потрясения заболела желтухой. С этого дня она сделалась еще серьезнее и грустнее, стала подолгу задумываться>.

Замужество. Поездка в Париж

<Первый муж Рафаил Николаевич Николаев, высокий, белокурый, чистенький, 23-х лет, женственный, бывший правовед>. Когда меня спрашивали, люблю ли я жениха, я отвечала: «Не по хорошу мил, а по милу хорош». Я не знала, что такое любовь. Я любила в нем мою мечту, но он нравился мне, казался порядочным, а главное, что привязывало меня к нему, это – сознание, что он причина перемены моей жизни, что замужество является символом свободы и что прошлое кончено навсегда.

<Когда молодые расписывались в книгах, произошла скандальная сцена>. Неловко взявшись за перо, я занесла руку и уже старательно выводила: Мария Морицовна фон Дезен, как вдруг со всех сторон раздались хором надо мной неистовые возгласы. Схватив мою руку, мать с силой отдернула ее от книги. В недоумении, ничего не понимая, я подняла голову. Мать давно оправилась. Лицо ее было энергично, глаза горели. Повелительным голосом она продиктовала

мне: Мария Клавдиевна Пятковская... *<Вероятно, именно в этот день родственники жениха узнали о том, что невеста незаконнорожденная>*.

Все эти пережитые с детства минуты наложили на мою натуру неизгладимый отпечаток, исковеркали ее... У меня навсегда остались нелюбимость, недоверие к людям, страх сходиться, сблизиться. При встречах с новым человеком я сразу становилась в оборонительное положение. Мне казалось, что он непременно наступит на меня, заденет, сделает больно...

Рафаил не хотел служить, общества не искал, прежние знакомства забросил, у меня же их не было. Он был образован и неглуп, но ленив и бесхарактерный...

Тяжелая беременность, трудные опасные роды, рождение дочери Маши и тут же родильная горячка, от которой я чуть не умерла, поглотили меня и отвлекли надолго от окружающей действительности.

Дома я пела, хотя и без метода. Голос мой очень развился и на многих производил впечатление – я пела от сердца. *<Мария Николаева решила на серьезный шаг: отправиться вопреки желанию семьи мужа в Париж учиться пению у знаменитой Маркези. Чтобы добыть денег, продала часть городской обстановки, доставшейся ей от матери>*.

Однажды я познакомилась с Иваном Сергеевичем Тургеневым, обаятельным стариком, сразу внушившим мне глубокое благоговение. Он заинтересовался мной, моим настоящим и прошлым. Не раз пришлось раскрыть перед ним свою душу. Слушая меня, он часто говорил: «Эх, жаль, что я болен и раньше вас не знал. Какую бы интересную повесть я написал...».

В Париж приехал Антон Рубинштейн давать свои исторические концерты. *<Рубинштейн играл и перед ученицами класса Маркези>*... Мы встретили его восторженно. Недолго думая, он сел за рояль, а мы тесным кольцом обступили его. Играл он, как бог. Мы замерли, едва дыша. Но после скерцо Шопена, в котором он превзошел себя, всех охватил безумный восторг. Поднялись крики, аплодисменты, что-то вроде сумасшествия. Вдруг я с ужасом вижу, как две неистовые шведки, стоявшие за ним, бросились вырывать у него волосы... Рубинштейн вскочил, рванулся к двери, ведущей в комнату Маркези... Я очутилась возле, пропустила его в комнату, выскочила за ним и заперла дверь на ключ. Все это произошло в один миг. Он был взволнован, рассержен и, грузно опустившись в кресло, тяжело дышал. Явилась Маркези и, желая загладить неприятное впечатление, стала извиняться, объяснять, что эти дурочки в пылу восхищения, не помня себя, хотели сохранить от него что-нибудь на память. Однако он не захотел больше вернуться в залу, и мы провели его к выходу окольными путями. Прощаясь, он сказал мне: «Что, спасительница, вы будете на моем концерте?» Я объяснила ему, что, к великому горю, никак не могла достать билета, что за два месяца уже все было расписано, и мы слышали даже, что, перекупая места, некоторые платили за них по пятьсот франков и больше. Он обещал уладить дело, прося меня встретить его при входе в фойе. *<Концерт Рубинштейна Николаева и ее подруга слушали, сидя на стульях, поставленных специально для них возле самого рояля>*.

<Мечтала ли будущая княгиня об артистической карьере?>. Пение? Это – забава, увлекательное занятие... Не этого хочет душа моя. Предположим, что мне даже придется по необходимости пойти на сцену, но какая же это деятельность?.. Что я там могу сделать?

<Талантливой певице предлагали ангажемент>. Явившись в назначенный час, я застала ее *<Маркези>* в классе одну. Она приняла меня очень ласково и тут же села за рояль, чтобы мне аккомпанировать. Недоумевая, но повинувшись, я пропела две-три арии. Наконец она встала, поцеловала меня и, подойдя к тяжелой портъере, отделявшей классную комнату от ее приемной, пропустила оттуда толстенького, низенького, незнакомого мне господина, имя которого я в смущении не расслышала. Это был импресарио. Маркези представила его мне, сказав, что она

устроила это нарочно, зная мою отчаянную робость. Толстенький, развязный господин наговорил мне и Маркези массу комплиментов. Голос мой ему понравился, и он тут же предложил мне турне на шесть месяцев в Барселону и Мадрид за двадцать тысяч франков. Путешествия из Парижа и по городам – на его счет. В разговоре понемногу он взял мою руку выше локтя, с каждым словом крепче и значительнее прижимая ее, упорно и как-то неприятно глядя в глаза. Как я ни пятилась, ни отодвигалась от этой неожиданной и странной интимности, он продолжал свой маневр. Наконец я решительным движением освободила свою руку: я была возмущена. Манеры эти показались мне оскорбительными.

Обсудив дома с Киту вопрос ангажемента со всех сторон, я пришла к решению не рисковать моей подписью, не будучи уверенной, как сложатся мои обстоятельства.

Возвращение в Россию. Первое знакомство с Талашкиным

<После возвращения в Москву встретила с подругой детства Екатериной Константиновной Святополк-Четвертинской>. Нас с ней сблизил вначале наши общие неудачи, и в области фантазий, надежд, широких замыслов мы говорили на одном языке. Видя мое пришибленное душевное состояние <обострились до предела отношения с мужем>, Киту стала уговаривать меня приехать погостить к ней в деревню, уверяя, что перемена обстановки благотворно подействует на мои мысли. <Так Мария Клавдиевна впервые оказалась в Талашкино, с которым будет связана ее жизнь в искусстве>.

Мы приехали в Смоленск 19 мая (1885 года), как раз накануне открытия памятника Михаилу Ивановичу Глинке, поставленного на «Блоне», против Дворянского собрания. Готовилось большое торжество. К этому дню из разных мест съехалось много артистов. Когда были возложены венки и участники торжества удалились, вокруг памятника собралась большая толпа зевак, и чей-то голос спросил: «А кто ш е н был? ти генерал какой?»

В Талашкине жизнь наша пошла своим чередом. Кроме пения, для меня открылся еще новый мир в массе превосходных книг по искусству из богатейшей талашкинской библиотеки.

В это лето Киту задумала открыть в Талашкине школу грамоты. Надо было найти подходящее для этого помещение. Строить было долго, нетерпение брало скорей привести в исполнение задуманное дело. В конце усадьбы был довольно подходящий домик, выстроенный когда-то для егеря. По упразднении охоты он стоял долгое время пустым. И наш выбор остановился на нем. Понадобились парты, учебные пособия, обстановка учителю.

Дело быстро наладилось. Ребятишек сразу набралось человек тридцать. Мальчики шли охотно учиться, но девочек заманить никак не удавалось – боялись. Придет, бывало, походит с недельку и больше глаз не кажет. Чтобы их приручить, мы установили уроки рукоделия. Накупим, бывало, цветистого ситцу, накроим сарафанов по росту тех девочек, которые будут по ним учиться шитью. Это понравилось. Казалось уже, они стали поддаваться, но как только сарафан был у нее на плечах, конечно, сшитый с нашей помощью, девочка снова пропадала.

Несмотря на то, наша школа пустила корни. Через некоторое время мы перевели ее в бывший флигель для гостей, переделанный и приспособленный для школы. Успехи учеников нас очень радовали, между ними оказались очень способные.

О театре я больше думать не смела, так как вся была во власти мужа, да, по правде сказать, меня и не очень тянуло окунуться в этот омут. Я пела много для себя, несколько раз с успехом в Смоленске и Москве на благотворительных концертах, у добрых знакомых, и все находили, что я хорошо пою.

Знакомство с В.Н. Тенишевым. Первые годы после свадьбы

Узнав как-то от Столыпина, нашего общего знакомого, о моем приезде в Петербург, ... заехала ко мне с упреком, что я ее совсем забыла, и тут же пригласила меня на вечер на 7 ноября, прося захватить с собой ноты.

– Вы знаете, какое удовольствие доставляет мне ваше пение, – сказала она, – я хочу, чтобы вас, наконец, услышал мой брат, князь Тенишев. Странно, мы с вами такие старые знакомые, а он до сих пор не имел случая даже познакомиться с вами. Брат большой любитель музыки и, я уверена, будет в восторге от вашего голоса.

Мы уже пили чай, когда явился кн. Вячеслав Николаевич Тенишев. Мне его представили, и мы сразу сошлись, разговорились, как будто были давным-давно знакомы. Оказалось, что он хорошо знает Талашкино, охотясь каждый год по соседству. Мы много болтали в этот вечер, спорили. Взгляды князя на музыку вполне отвечали моим. Пение мое его, по-видимому, очаровало. Весь вечер он не отходил от меня и настоял, чтобы довезти меня домой в своей карете. Прощаясь, он просил разрешения бывать у меня. На другой день он прислал мне огромную корзину ландышей.

Из разговора я уже знала, что князь около шестнадцати лет со своей женой не в ладах. Брак этот считался в полном смысле слова неудачным.

Это был человек с железной волей, сильный духом. Он мягко, без малейшего усилия умел заставить говорить и делать, что хотел. Его считали крупным дельцом, умным, решительным человеком, создавшим много крупных коммерческих предприятий, между прочим, он был душой и организатором акционерного общества Брянских заводов.

<Отношения с окружающими усложнились, и Мария Клавдиевна уехала в Париж>. Однажды ... вдруг открывается дверь... и князь на пороге, сияющий такой, довольный. Я вскочила и снова в бессилии опустилась в кресло от испуга, неожиданности и смущения, закрыв лицо руками. В душе мелькнуло сознание, что с Б. все потеряно. Увы, действительность наступила слишком скоро...

Волю князя, его решение, когда он что-нибудь в голову заберет, никогда никому еще в жизни побороть не удавалось – это был кремень. Он решил неумолимо стать между мной и Б., и это ему вполне удалось.

<После свадьбы супруги Тенишевы приехали в Бежецу неподалеку от Брянска. Здесь началась благотворительная деятельность княгини: она организовала ремесленное училище и народную столовую, а также клуб и потребительский кооператив для служащих завода>. Покидая завод, я оставила, кроме моего ремесленного училища, шесть благоустроенных и специальных школьных зданий, в которых обучалось тысяча двести ребят. С уходом мужа из Бежецы я отказалась от попечительства в этих школах.

Жизнь в Петербурге. Новые проекты

<Муж не любил искусства>. Кроме музыки, никакая другая отрасль не интересовала его – ни старина, ни живопись, ни современное художество. К художникам он относился с презрением, иногда с каким-то странным любопытством, точно видел перед собой нечто вроде заморского зверья. На мою страсть к искусству и коллекционерству он смотрел снисходительно, как на игрушку избалованного ребенка, и ко всем моим художественным затеям, устройству мастерских в городе и деревне он применял известную поговорку, перефразируя ее – «чем бы жена ни тешилась, лишь бы не блажила». Под «блажью» он понимал кокетство и, вероятно, неверность.

Любовь к искусству у всех без исключения он считал забавой, не делающей никому вреда, но и не приносящей никакой пользы. Так же строго он относился и к музыкантам. Например, будучи очень дружен с виолончелистом Давыдовым, но сильно критикуя его образ жизни, он до тех пор не успокоился, пока не заставил его поступить на службу в какой-то банк, говоря ему, что у него достаточно времени для одного и другого и что мыслящему человеку быть исключительно музыкантом – недостаточно и унижительно для его достоинства.

Слава, приобретенная Репиным, – преувеличенная или нет, это покажет будущее – все же сделала то, что к нему валила молодежь учиться со всех концов России. Однажды он предложил мне устроить в моей мастерской в Петербурге студию для подготовки молодых людей к высшему художественному образованию. Конечно, я откликнулась с радостью на это предложение, потому что в Петербурге до той поры не существовало никаких классов для перехода из рисовальных школ в Академию художеств.

Студия наша сразу завоевала себе почетное место. Желающих поступить в так называемую «тенишевскую школу» было в десять раз больше, чем позволяло помещение. В нем могли работать при двух натурщиках от пятидесяти до шестидесяти человек. В начале учебного сезона места брались положительно с боя, иногда даже происходили очень тяжелые сцены отчаяния, когда Репин, после пробных занятий, отстранял того или другого ученика, не находя в нем достаточно данных. Горе этих молодых людей глубоко трогало меня.

Между учащимися были сын Репина Юрий, Елена Маковская (дочь Константина) и Иван Яковлевич Билибин, ставший потом известностью. Он был еще в университете, когда начал ходить в нашу студию. Кроме него, было еще несколько студентов, был один японец,

Студия выходила на Галерную. На этой улице не было ни ресторана, ни приличной столовой или кондитерской. пойти закусить или позавтракать было некуда, приходилось для этого переходить огромную Исаакиевскую площадь, бог весть куда, что отнимало много времени. Петербургский зимний день уж и так короток, поэтому многие предпочитали голодать до вечера. Я придумала, чтобы устранить это неудобство, устроить в особой комнате, рядом с мастерской, что-то вроде чайной. В двенадцать часов подавался огромный самовар с большим количеством булок. Вначале мои художники стеснялись пользоваться даровым чаем, отказывались под разными предлогами, некоторые даже удирали до двенадцати часов, но потом понемногу привыкли к этому обычаю, тем более что я приходила вначале сама с ними пить чай во время перемены, приглашая составить мне компанию. В конце концов все до такой степени привыкли к этому чаю, что потом, уже поступив в Академию, прибегали к нам оттуда, даже приводя с собой товарищей. Меня же это очень радовало.

Иногда у нас в студии по вечерам собирались художники, пели, играли и даже танцевали, устраивались чтения, и всегда было так молодо, весело, непринужденно. Однажды я устроила для моих больших детей нарядную елку, на которой красовались карандаши, резинки и много сладостей, а потом мы до утра танцевали. Кажется, это единственное место в Петербурге, где я так от души веселилась.

Параллельно с моей петербургской студией я открыла начальную рисовальную школу в Смоленске. Репин очень меня поддерживал в этой затее и даже выхлопотал мне из Академии несколько художественных классических гипсов для этой цели. Цель школы была привлечь побольше мастеровых и дать им знание рисования, которое в их работе очень ценно. В Смоленске, например, процветает гончарное производство, и мастер, подучившись рисовать, мог бы с большим вкусом разрисовать свои горшки и тем поднять как самое производство, так и стоимость своих изделий. Точно так же и столяры, резчики и т.д. Но из мастеров поступило очень мало. Было два-три мальчика лет пятнадцати-шестнадцати, остальной же контингент состоял почти исключительно из барышень, которые от нечего делать бросаются во все консерватории, курсы и рисовальные классы без всякого к тому призвания.

Мне очень хотелось познакомиться с нашим знаменитым композитором <П.И. Чайковским> и пропеть ему некоторые вещи, которыми я так дорожила, а потому я приготовила к этому дню аккомпаниатора и с трепетом ждала этой минуты. После завтрака, за которым Чайковский был весел и много рассказывал интересного, мы перешли в залу и занялись музыкой.

Я очень волновалась, что буду петь перед ним, но его милое, симпатичное отношение ко мне скоро ободрило меня. Когда я спела два романса, он вскочил, отстранил аккомпаниатора, сам

сел к роялю, сказав, что он в восторге, так как никогда не слышал этих романсов в чем-либо исполнении. Когда он стал мне аккомпанировать, его чудное туше, его манера исполнения зажгли меня так, что я пела без конца. Часы летели незаметно, мы повторяли некоторые вещи по два, по три раза. Начав наше музыкальное утро в два часа, мы опомнились в седьмом.

Чайковский взглянул на часы и с ужасом вскрикнул. Ему надо было быть на репетиции в четыре. Прощаясь, он поцеловал мне руку, горячо благодарил за доставленное ему удовольствие, наговорил мне очень много любезного и лестного для меня как исполнительницы и обещал приехать на один день попозировать для карандашного портрета. И действительно, через несколько дней он провел часа два в моей мастерской.

Приобретение Талашкинского имения. Школа

Вячеслав очень любил ездить в Талашкино. Для меня же поездки туда составляли истинный праздник, если бы только не постоянный страх, что Киту по семейным обстоятельствам будет принуждена в конце концов продать его в чужие руки. Мысль эта мучила меня, отравляя все удовольствие. Сколько раз я делилась с мужем моими опасениями, объясняя ему, почему она задумала расстаться с этим милым уголком. Киту очень хворала в это время, и ее преследовала мысль (под влиянием которой ее нервы расстраивались еще больше), что, случись с ней беда, имение, в которое она вложила столько забот, трудов, инициативы, столько души и любви, отойдет в руки ее очень дальних, малокультурных родственников как родовое (имение нельзя завещать государству), и тогда все пойдет прахом: все ее начинания, улучшения, все начатки культуры. *<Тенишевы приобрели имение, в котором подруги-энтузиастки осуществили множество совместных проектов – художественных, педагогических и хозяйственных>*.

В ... Талашкине, кроме постоянных гостей, жили еще Михаил Александрович Врубель с женой, молодой композитор Яновский, кое-кто из Смоленска и Василий Александрович Лидин, приехавший преподавать игру на балалайке в моей школе. С Врубелем мы были большими друзьями. Это был образованный, умный, симпатичный, гениального творчества человек, которого, к стыду наших современников, не поняли и не оценили. Я была его яркой поклонницей и очень дорожила его милым, дружеским отношением ко мне. Такие таланты рождаются раз в сто лет, и ими гордится потомство. Сидя со мной, он, бывало, рисовал и часами мечтал вслух, давая волю своей богатой, пышной фантазии. Малейший его эскиз кричал о его огромном даровании. В это время я была занята раскраской акварелью по дереву небольшой рамки, и этот способ его заинтересовал. Шутя, он набросал на рамках и деках балалаек несколько рисунков, удивительно богатых по колориту и фантазии, оставив мне их потом на память о своем пребывании в Талашкине.

Кроме постоянных жителей, в Талашкине у нас подолгу гащивали в разное время Репин, Прахов, Софи Менгер, знаменитая пианистка, Коровин, Ционглинский, Трубецкой – скульптор (лепивший с меня статую в продолжение трех месяцев и очень неудачно), Врубель, Владимир Ильич Сизов, приятели и родственники мужа и кое-кто из Смоленска.

Задолго до того, как я, наконец, основала школу, у меня сложился известный идеал народного учителя. Я всегда думала, что деревенский учитель должен быть не только преподавателем в узком смысле слова, т.е. от такого-то до такого-то часа давать уроки в классе; но он должен быть и руководителем, воспитателем, должен сам быть сельским деятелем, всеми интересами своими принадлежащим к деревенской среде; знать сельское хозяйство хотя бы в какой-нибудь маленькой отрасли его, быть если не специалистом, то любителем, например, огородничества, садоводства или пчеловодства, чтобы подавать пример своим ученикам, приучать их к труду; пробудить сознательное отношение и любовь к природе; а кроме того, он должен был быть и их первым учителем нравственных правил, чистоплотности, порядочности, уважения к чужой собственности. Деревенская обстановка темна, дети видят иногда дурные примеры,

пьянство, драки, воровство. Где же, как не в школе, должны они получить первые примеры для жизни? Все это лежит на учителе. Ему надо заронить в душу своих питомцев искру Божию.

Прежде чем основать школу, я за год до нее устроила во Флёнове летние курсы плодоводства, садоводства и огородничества для сельских учителей под руководством профессора Регеля. С осени он приехал в Талашкино, дал нам все необходимые указания, как разбить фруктовый сад, как взрыхлить землю, насадить известное количество саженцев, приготовить гряды и т.д.

В скором времени во Флёнове, вместо покрякивавшихся и ветхих построек, выросло хорошее школьное здание с просторными классами, богатой учительской и ученической библиотекой и разными учебными пособиями. Рядом со школой я построила общежитие на двадцать человек, с комнатой для дядьки, удобной столовой и светлой кухней, чтобы ученики могли, по очереди дежуря в ней, сами следить за доброкачественностью провизии. На одной линии с общежитием расположилось длинное здание, состоящее из четырех квартир, для управляющего школой, преподавателей и сторожа, прилегающее одной стороной к старому липовому саду, по склону которого была расположена пасека, наблюдательный павильон со стеклянным учебным ульем, весами для наблюдения ежедневного взятка и картограммами.

На второй год я ввела в школе игру на балалайке и пригласила В.А. Лидина, который приехал ко мне летом и обучил целый оркестр настолько хорошо, что когда осенью того же года приехал ко мне погостить известный основатель и руководитель балалаечного оркестра В.В. Андреев, тот был удивлен результатами и предложил устроить благотворительный концерт в Смоленске под его управлением, который и состоялся в зале Городской думы и прошел с большим успехом.

Также реформирована была и моя маленькая школа для девочек, которой до этого управляла Елизавета Ивановна Барщевская, дельная, серьезная и очень любящая свое дело молодая девушка, занявшаяся с большим рвением образованием и воспитанием крестьянских девочек. К сожалению, Барщевская очень недолго у меня служила, так как скоро вышла замуж, но и за это короткое время она оставила неизгладимый след в сердцах своих воспитанниц. Принесенная ею польза была очевидна все ее ученицы отличались чистоплотностью и большой добросовестностью.

Приобщив девочек к сельскохозяйственному образованию, я построила для них отдельное большое помещение. На занятия и в столовую они ходили вместе с мальчиками, а ночевали в общежитии под надзором смотрительницы, назначавшейся из жен семейных учителей, имевших здесь же квартиру.

Девочки все оказались очень способными и дельными. Начинали они учиться сельскому хозяйству очень робко, с сомнением. Когда им сказали, что они будут учить химию, то они расплакались, это слово показалось им страшным, а по окончании все вышли прекрасными работницами, и в «смутные годы» ни одна из них не причинила мне ни малейшей неприятности.

В устройстве Флёнова меня больше всего стесняло то, что муж почему-то сделался скуп, сильно урезывая меня в средствах каждый раз, что я у него просила денег. Я не раз искала случая заинтересовать мужа своей школой, завоевать его симпатию к ней. Много раз приходилось мне с ним по этому поводу спорить. Муж продолжал относиться несочувственно, и это было обидно. Такое отношение было особенно странно с его стороны, так как он сам затеял огромную и очень дорогую постройку – училище в Петербурге.

Недалеко от будущей церкви, на склоне горы, на фоне елей и сосен, мне захотелось построить себе особый домик в русском стиле, и по рисунку Малютина был выстроен хорошенький, уютный «теремок», с красным резным фронтоном, исполненным в наших мастерских, с гармоничной раскраской. Из окон его расстилался чудный вид, а у подножия горы

раскинут был школьный фруктовый сад, дальше шли поля, окаймленные лесами. В этом теремке поместилась учительская читальня, пианино, а в нижнем этаже читальня для учеников.

Театр в Талашкино

Чтобы уяснить себе, как в деревне проводят праздники, я задала детям сочинение на тему «Как я провел святки». Сочинения эти сослужили мне большую службу. Почти в каждой тетради, за малыми исключениями, встречались такие фразы: «Был в гостях у крестного, пил водку» или «Катался с гор, тятка дал горилки» и т.п. Вот тут и воспитывай юношество в нравственных правилах и трезвости...

Крестьянский ребенок мало развит, внимание его спит, реакция слабая, речь несвободная. Школьные уроки передаются или на заученном книжном языке, или на своем разговорном, бедном, затрудненном, красноречие отсутствует. Разговорить ученика, особенно мне, было всегда трудно. Я попечительница, значит, начальство, другими словами: держи ухо востро. Чувствовалась всегда принужденность со стороны учеников. Кроме того, способствовали этому в огромной мере сами учителя. Театр же давал мне временно возможность устранить эту отдаленность, которую я чувствовала и от которой страдала.

В Талашкине против дома стоял старый несуразный флигель для гостей. Мы его превратили в театр. Под руководством Малютина покрыли его резьбой, расписали, наделали декораций, деревянных резных лавок для зрителей. В керамической мастерской обожгли приборы для стенных и стоячих ламп, отделанных кованым железом. Рисунки для ламп сделала я, а железные части выполнили наши кузнецы, и очень хорошо. Говорю так потому, что ведь это делали простые мужики, которые еще недавно и не слыхали ни о каком искусстве.

Малютин написал занавес и одну декорацию, для остальных выписали из Москвы, по совету Малютина, двух молодых художников, окончивших Строгановское училище, Зиновьева и Бекетова. Они были большими приятелями и работали очень дружно.

Наш старый флигель сделался неузнаваемым и ожил. Каждый день в нем происходили репетиции, спевки, а по вечерам зимой устраивался рисовальный класс под руководством Зиновьева для наших ребят, мастеровых и учеников...

Я положительно набросилась на театральные увеселения, урезывая рождественские и пасхальные каникулы, и старалась приезжать на это время из Петербурга даже из-за границы, чтобы занять мой маленький люд. Несмотря на мою антипатию к театру вообще, нахожу, что в воспитательном смысле это большое подспорье, в особенности деревенский театр, и он послужил мне с пользой в моей школе для сближения с учениками. Мы временно составляли как бы одну семью, сливаясь в одно целое, стараясь сыграть пьесу как можно лучше.

Роли я старалась распределить по силам, характеру и данным исполнителя, и некоторые типы удавались превосходно, сами собой, как, например, роль жениха в пьесе «Жених из ножевой линии». Ее исполнял учитель-костромич Второе, мешковатый медведь, сильно говорящий на «о», давший превосходный тип. Сперва мы играли в школьном здании и там исполнили «Ревизора» и «Женитьбу» Гоголя.

Я заметила, что ребята очень увлекаются игрой на сцене. Первое представление состоялось на Рождество. Все праздники прошли в репетициях и приготовлениях, и, таким образом, школьникам не удалось пойти в отпуск на все праздники.

Актерами у нас были ученики, ученицы, учителя и мои домашние. Мы исполняли разных авторов: Гоголя, Островского, Чехова и других. Играли и мои две пьесы: «Трефовый король на сердце» – шутка-водевиль, и «Заблуждение» – пьеса с тенденцией, с героем учителем, где я вывела тип учителя, о котором всегда мечтала для жизни. К сожалению, таких нет в жизни.

Балалаечный оркестр учащихся

Когда собирались ехать в Смоленск, сколько было приготовлений!.. Приносился огромный сундук со старыми мебельными чехлами, в них заворачивались балалайки и укладывались в этот сундук. Накануне под вечер запрягалось несколько розвальней, наваливалось много сена и на одни из них ставился сундук, на другие усаживались ученики и ученицы с дежурным учителем. Кроме того, ехал столяр на случай порчи инструмента. В городе для ребят отводилась комната в нашем доме, наваливали им сена, и они спали, как блаженные, до утра. Девочек я брала к себе, их было в оркестре пять-шесть.

Утром в день концерта делали репетицию, расставляли пюпитры в той зале, где играли. В дни концертов чай пили, завтракали и обедали в соседней с нашим домом чайной или в столовой Народного дома. Мы обыкновенно устраивались в читальной комнате. Кушали вволю, кто сколько хотел и чего душа просила, – два супа, например, три жарких и т.п. Потом мальчиков вели стричься, одевали в чистое платье: бархатные синие шаровары и красные рубахи, девочек – в темно-синие платья с красными бантами в волосах, и отправлялись в концерт. Успех всегда был большой, встречали нас хорошо, ребята были довольны. После концерта, облачившись в старое платье, марш на розвальнях домой. Обратное шествие сонного каравана направлялось прямо во Флёново. Дети очень любили эти поездки, были веселы, шутили, и я чувствовала свою близость с ними.

Талашкинские мастерские

Наши талашкинские рукоделия достигли уже известного совершенства, но все еще не удовлетворяли меня. Приходилось вышивать покупным материалом. Мы покупали английские нитки, которые придавали вышивкам банальный оттенок, что-то безличное. У меня возникла мысль воспользоваться сохранившейся еще среди наших смоленских крестьянок традицией и привлечь тех из них, которые еще не забыли украшенных вышивками своих нарядов и помнили способ старинной растительной окраски.

У меня накопилось так много работ из моих мастерских, что я для поощрения моих учеников смогла устроить выставку талашкинских изделий в Смоленске, в том самом здании, где была рисовальная студия при Куренном, так что эта постройка сослужила мне еще службу. Мы очень живописно убрали комнаты и разместили предметы. Там были сани, украшенные живописью и резьбой, дуги, балалайки, дудки, скамейки, рамки, полотенца, мебель, шкафчики, шкатулки, стулья, а также много вышивок – все труды моих учениц и учеников.

Вообще, наши вещи не вызвали восторга, а только немое удивление, которое мы не знали чему приписать: признанию или отрицанию подобного производства, сочувствию или порицанию. Но через несколько лет публика вошла во вкус, и мне пришлось видеть во многих домах мебель и убранство, скопированные с тех вещей, которые сначала вызывали только немое остоление. В то же время талашкинское производство привлекло к себе внимание художественной критики. Снимки с наших изделий были помещены в «Мире искусства» и в иностранных художественных журналах.

Я давно уже задумала насадить в Смоленской губернии кустарный промысел и исподволь, понемногу, вела для того подготовительные работы. Я всегда думала, как бы хорошо было дать возможность крестьянам заработать в зимнее время, особенно женщинам. Ведь крестьянки в длинные зимние месяцы или перебиваются с трудом, проводя время в вынужденном бездействии, или идут на фабрики, в город искать заработка, бросая семью, детей, что всегда губительно отражается на их здоровье и всем строе семейной жизни. Надумала я воспользоваться сохранившимся еще среди смоленских крестьянок умением вышивать и окрашивать ткани и пряжу.

Старинные крестьянские костюмы нашей губернии очень красивы, но, к сожалению, на них «прошла мода», как говорят бабы, их уже не носят теперь, все больше и больше заражаясь городскими фасонами из скверных фабричных ситцев. Однако у старух сохраняются еще по сундукам все принадлежности старинного убора, которые они даже охотно продают. Но не только старухи, а и молодые девки и бабы умеют вышивать по-старинному и легко снимают какой угодно мудреный старинный узор «строчками». И вот, не навязывая им никаких посторонних вкусов, идей, мы понемногу стали приучать их применять свое искусство к вещам нашего обихода. Нам ни к чему фартуки, «поляки» (наплечные вышивки на рубахах), поэтому мы начали с салфеточек, понемногу увеличивая их размеры, вводя все более сложные и богатые узоры. В местных вышивках встречались только яркие красные, синие и желтые нитки, мы же предложили исполнять узоры в более мягких, гармоничных тонах. Наши цвета им сначала не нравились, они называли их «мутными», но потом вошли во вкус.

Крестьянки сперва туго поддавались – они вообще консервативны, недоверчивы и ко всяким новшествам неподатливы, брались робко, с неохотой, уходили, возвращались. Приходилось переплачивать, чтобы заинтересовать, привлечь их. Рисковали лишь самые смелые, но зато немного погодя не было отбоя от них, за пятьдесят верст приходили иногда, умоляя дать работу.

Материал весь покупался у баб: сукно, пряжа, холсты. Все это у нас окрашивалось, кроилось, подбирались подходящие нитки и снова шло к ним в работу. Не покидая своей избы, зимой крестьянка, хорошая рукодельница, легко зарабатывала 10–12 и даже больше рублей в месяц, что для них представляло значительные суммы. Между ними были настоящие художницы, мастерицы, с врожденным вкусом, умением и фантазией, тонко видящие цвета и с полуслова понимающие, чего от них хотели. В конце концов мы начали достигать удивительных результатов, и каждая особенно удавшаяся вещь, со сложным рисунком, богатая по краскам, чисто и тонко выполненная, составляла радость и гордость всей мастерской. Мы стали делать уже крупные вещи, драпировки на окна и двери, обивки для мебели, которая выходила из нашей столярной мастерской, скатерти, покрывала на рояли, не говоря уже о мелких, как отделки для платьев, подушек, полотенец, узкие полоски для отделки, продававшиеся на аршины и т.д. Количество баб доходило теперь до двух тысяч, и в конце концов трудно было найти поденщицу или прислугу, так как женщина, живя у себя, зарабатывала гораздо больше, чем на поденщине. Я уже мечтала расширить это дело, завести сношения с границей, посылать наши работы в Париж, Лондон, тем более что иностранцы начинали сами интересоваться нашими кустарными промыслами. Пока же для сбыта изделий наших мастерских я открыла в Москве магазин «Родник».

Руководителем моей мастерской был С.В. Малютин. Тщедушный, маленький, он и был маленьким во всем, кроме таланта. Вначале скромный, податливый, он признавал за мной вкус, опыт, а главное, понимание комфорта, которое в нем совершенно отсутствовало, и потому, когда мы начинали создавать разные вещи домашнего обихода в новом русском стиле, он прислушивался к моим советам и следовал моим указаниям. Сам же он делал вещи совершенно невозможные для жизни – столы с острыми углами, о которые все больно стучались коленями, кресла, которых никто не мог сдвинуть с места, а раз он сделал табурет, с крупной рельефной резьбой на сиденье, необыкновенно неудобный. Этот табурет даже сделался знаменитым, и многие просили его фотографию на память как курьез.

Хотя Малютин был неречист, ребята его отлично понимали. «Столбушечки, красочки, вершочки, зайчики» составляли весь незатейливый обиход его речи.

«Мир искусства»

Моя «конспиративная» квартира осталась мне очень памятной еще и потому, что в ней зародилась мысль создать художественный журнал. С этим предложением ко мне туда однажды пришел Дягилев Сергей Павлович. В дело журнала входил вкладчиком, кроме меня, Савва Иванович Мамонтов.

Так как я была неопытна в составлении условий, то обратилась к мужу и за советом, и за деньгами. Первые слова мои были встречены бурей. Он положительно восстал против моего намерения, хотя и понимал, что для меня такое дело было бы действительно интересно. Денежный же вопрос его окончательно возмутил.

– Верь мне, – говорил он, – тебя берут только за деньги. Что им твои художественные инстинкты, твои способности, вкусы и понятия?.. Ты всегда живешь в каких-то иллюзиях и прикрываешься громкими фразами: общественное благо, развитие общества, расцвет искусства, и этим только себя обманываешь...

Он охотно бросал деньги на туалеты, золотые вещицы, бриллианты, но почти не признавал, что у женщины могут быть и другие потребности...

Уже знакомый мне в нем дух противоречия объяснил мне многое в его характере, и я нашла способ всегда тратить сколько хотела на свои предприятия. Простое объяснение, почему я нуждаюсь в той или другой сумме, не удовлетворяло его, этого было мало. Но, найдя известную уловку, манеру обходиться с ним, я восторжествовала. Я поняла, что, если он видит во мне только женщину, я должна поступать как женщина.

Я пела и пела особенно увлекательно тогда, когда у меня была какая-нибудь цель. Он зажигался и делался податлив, как ягненок.

Я шла к нему в кабинет просить денег, но, получив отказ – вежливый, с поцелуем руки, – из просительницы превращалась в законодательницу, я требовала и говорила: «А я тебе говорю, что я так хочу. Прошу тебя, чтобы завтра это было сделано...» На это он вставал, целовал меня и, жеманясь, отвечал: «Княгиня, ваше желание – мое желание». И когда, сыграв роль капризной львицы, я, оскорбленная недостойной комедией, уходила от него, меня утешала мысль, что я делаю это не для себя, а ради идеи.

То же самое произошло и с «Миром искусства». После долгих объяснений и здравых доводов, я вдруг изменила тактику и объявила, что я так хочу и чтоб так было. Результатом было то, что муж принял у себя Дягилева и Мамонтова и условие было подписано. Мы вносили по 12 500 руб. в первый год на основание художественного журнала «Мир искусства».

Задачей «Мира искусства» было выдвинуть молодых, способных и талантливых художников, заговорить о них в журнале и обратить внимание на них посредством выставки, которая бы воочию показала публике, что в России есть свежие и молодые силы, кроме передвижников. На этой выставке должны были фигурировать и старые, и новые художники – все, что было крупного, талантливого и яркого. Васнецов после выхода первого номера отказался прислать что-либо и на выставку, а Репин пообещал сделать три портрета, но, конечно, остался верен себе и не вполне исполнил обещание.

Я тогда была в Париже, и мы с Дягилевым много потрудились для этой выставки. Мы объехали всех любителей коллекционеров, собирая картины и портреты французских современных мастеров. Были в мастерской Больдиви, Уистлера, и, благодаря моему положению, артисты и любители доверили мне свои шедевры. Боннар дал нам свой портрет Режан во весь рост у рампы. Мне удалось также уговорить одного коллекционера поручить нам пять-шесть картин Дега, и все эти вещи я везла уложенными среди моих платьев, к великому неудовольствию Лизы, говорившей, что это портит платье. Для спокойствия я застраховала их в 500 000 франков.

На выставке были также редчайшие образцы хрусталя Тиффани, которые я давно собирала и покупала у Бинга в Париже. В России они появлялись впервые, это была новинка. Там же были выставлены впервые ювелирные вещи Лалика, который поручил мне ценных предметов более чем на 50 000 франков.

Можно сказать, что наша выставка для петербургского общества была пробным камнем. Передвижники затянули его понятия в такую тину, так приучили вкусы к тулупам в натуральную величину и тенденциозной сентиментальной манере, что, конечно, выставка не могла понравиться большинству и быть им оцененной по справедливости. «Импрессионисты», «ориенталисты» и

вообще все то, что не подходило к нашему тулупу, возмущало общество, и на меня с Дягилевым посыпались обвинения и насмешки. Меня даже прозвали: «мать декадентства».

Мамонтов поступил со мной в высшей степени недобросовестно. Оказывается, он подписал со мной условие накануне своего краха, который он, конечно, не мог не предвидеть, и потому внесенные им пять тысяч рублей было все, что он сделал для журнала. Таким образом, все расходы по «Миру искусства» пали всецело и исключительно на меня. Не говоря уже о том, сколько неприятностей со стороны мужа навлекло на меня это обстоятельство...

Почувствовалась перемена в отношениях ко мне и со стороны Дягилева. Имея дела с женщиной (с Мамонтовым он, конечно, больше бы считался), он стал вести журнал в направлении, совершенно противоположном моему желанию. Я считала непростительным пользоваться нашим журналом для травли людей, давно заслуживших себе имя, оцененных обществом, много сделавших для русского искусства, как, например, Верещагин, которому надо быть благодарным хотя бы за то, что он ввел в России батальный жанр. Деятельность его не должна была подвергнуться критике в той форме, как это позволил себе Дягилев на страницах «Мира искусства». Это был уже, можно сказать, классик. Отзывы о нем Дягилева шли совершенно вразрез с моими взглядами, ответственность же падала на меня.

Бороться из-за денег, платить колоссальные суммы и за это получать одни лишь неприятности, как со стороны тех, кому даешь эти деньги, так и со стороны всех недовольных выходками журнала, нести на себе двойную ответственность – все это привело меня, наконец, к сознанию, что я действительно взялась не за свое дело. Таким образом прошел год, и снова возник вопрос о продолжении журнала. Дягилев приехал ко мне для переговоров, но я сказала ему, что меня довольно полученных неприятностей и что я оставляю «Мир искусства».

Спустя несколько лет вновь возник вопрос о моем вступлении в журнал как издательницы. Тогда я выработала новую программу, поставила Дягилеву известные условия, желая прежде всего придать журналу более национальный характер, оставить постоянные и неумеренные каждения перед западным искусством и заняться поощрением своего, русского, в частности прикладным искусством. Я не могла примириться с постоянным раздуванием «Ампира», вечным восхвалением всего иностранного в ущерб всему русскому и явно враждебным отношением к русской старине. И это в единственном русском художественном журнале. В связи с этим я потребовала изменить состав сотрудников журнала и пригласить Н.К. Рериха, очень образованного, уравновешенного и серьезного знатока дела. Также, в связи с изменением в направлении журнала, решено было о выходе из редакции А. Бенуа. Дягилев опять казался искренним и с чувством говорил:

– Да, что ни делаешь, а истинные друзья встречаются только раз в жизни... Много перед вами проходит людей, но преданный, верный друг – один в жизни...

Вскоре вышло объявление в газетах о принятии подписки на журнал с моим участием как издательницы. В списке сотрудников я прочла имя А. Бенуа. Дягилев и на этот раз нарушил наше условие и, как и прежде, не стеснялся со мной. Тогда я немедленно поместила в той же газете объявление, что никакого участия в журнале не принимаю и принимать не буду. Это и было смертью «Мира искусства». С тех пор я уже окончательно порвала с Дягилевым.

<О своих портретах – редкие из них нравились самой Тенишевой, и еще более строгим судьей был ее муж>.

У меня и сейчас сохранилось по крайней мере шесть или семь портретов ужасающего уродства, которые я берегу как образцы того, как не надо писать. Все, видевшие меня и их, изумляются, негодуют и верить не хотят, что все это сделано не нарочно.

Парижская выставка 1900 года

Однажды в Талашкине Вячеслав получил какую-то депешу и, не сказав мне ни слова, быстро собрался и уехал в Петербург. Вернувшись через неделю, он сообщил мне, что был вызван Витте, который предложил ему быть генеральным комиссаром на Парижской выставке, предполагавшейся в 1900 году.

В то время в моих мастерских уже делались весьма интересные вещи, и я решила приготовить для парижской выставки группу балалаек прекрасной работы, с деками, расписанными Врубелем, Коровиным, Давыдовой, Малютиным, Головиным и две – мною. Балалайки эти составляли целый оркестр.

Все упомянутые художники единодушно отозвались на мое предложение расписать балалайки, и даже Репин, узнав об этом, выразил тоже желание участвовать. Когда же подошел срок, он прислал их мне нерасписанными, сказав одному моему знакомому, что я, вероятно, с ума сошла, вообразив, что он станет чем-либо подобным заниматься. Времени оставалось очень мало. Видя мое отчаяние, Врубель любезно вызвался расписать еще две балалайки и переслать их мне в Париж неполированными, и уж там пришлось отдать их наскоро французским мастерам. Репин и тут остался верен себе. Выходка его меня не рассердила и не удивила, да к тому же все это вышло к лучшему, потому что Врубель дал мне вместо двух четыре балалайки, великолепно расписанные, со свойственным только ему одному колоритом и поражающей фантазией. Я была удовлетворена и награждена – они теперь составляют большую редкость. Сомневаюсь, чтобы Репин мог что-либо подобное сделать.

Коллекция моих балалаек очень понравилась на выставке своей оригинальностью, и я получила массу предложений приобрести весь оркестр, благодаря главным образом гениальным рисункам Врубеля. Впоследствии я этот оркестр поместила в моем смоленском музее.

Из Парижа я вернулась совсем больной, Вячеслав тоже переутомился на выставке. Лихорадочная, суетливая жизнь, полная мелких забот, для такого делового, положительного и уравновешенного человека была не по характеру. Кроме того, в этой постоянной надсаде, принимая и угощая, он еще злоупотреблял шампанским и с отягченной головой ложился спать, что не раз заставляло дрожать за него и бояться, как бы не случился с ним удар. Но хуже всего то, что это вызывало переутомление сердца, и муж стал страдать страшными сердцебиениями. Не желая меня расстраивать, а может быть, просто по своей привычке все переживать одному, он мало жаловался на здоровье, но я видела, что с ним неладно, что он принимает какие-то порошки, что к нему ездит доктор.

Коллекционирование

С Владимиром Ильичом Сизовым у меня раз произошло столкновение на почве нашей одинаковой страсти к археологии. В один из его приездов в Талашкино он предложил мне копать курганы параллельно с ним. Он давно уже был известен своими трудами по раскопкам в Гнездове, верстах в двадцати от Талашкина. Я с радостью откликнулась на его предложение. Так как я сама не могла присутствовать все время на раскопках, то к своим курганам я приставила нашего станowego пристава, Неклюдова, страстного археолога. Спустя два дня мне по телефону сообщили, чтобы я была настороже, что в моих курганах была найдена византийская пряжка с эмалью, но что Сизов просил мне этого не говорить, так как сам в продолжение многих лет домогался найти такую вещь, как недостающую в его курганных коллекциях и очень важную для его ученых выводов.

Приехав с раскопок 15 июля (день его Ангела), Сизов молчал о находке, но я не выдержала и попросила его показать ее. Мы сидели за обедом большой компанией. Он неохотно вынул ее из кармана и подал мне. Когда я взяла ее в руки, что-то дрогнуло в моем сердце, археологическая страсть охватила меня, и желание иметь эту пряжку поглотило все остальные чувства... Я объявила ему, что пряжки не отдам, так как она найдена на моих курганах. Сизов побледнел. Я

тоже сидела вся трепеща, нервно сжимая вещь в руке. За столом все замерли, наступило тягостное молчание. Даже муж, который всегда умел выйти из неловкого положения, всегда находился в трудные моменты и шуткой или насмешкой давал разговору другой оборот, тоже застыл. Положение становилось страшно натянутым. Я чувствовала, что была права, но как хозяйка дома, особенно еще пригласившая Сизова отпраздновать у нее свои именины, должна была сдаться, зная, что находка эта послужит ему для его славы. Долго, томительно сидели мы, глядя друг на друга. Разговор давно упал, все ждали, что будет.

Я еще боролась с собой, а Сизов, видимо, переставал владеть своими нервами -- вот-вот выйдет вспышка. Не знаю, сколько времени прошло в этом натянутом положении, но наконец, переломив себя, с болью в сердце, я рассталась с желанным предметом и передала его Сизову. Но с этой минуты я не могла ни смотреть на него, ни говорить с ним, я его положительно возненавидела в эту минуту. Мы очень холодно простились с ним, он уехал сконфуженный, но довольный, а я в продолжение двух лет избегала с ним встречи, но потом у меня отлегло на сердце, и мы с ним помирились.

Моя горничная Лиза, прожившая у меня более двадцати лет, была вполне солидарна с мужем во взглядах, и мне приходилось от нее терпеть постоянные попреки:

– Какая вы барыня? – говорила она. – Настоящая барыня нарядная, и шкафы ее заняты только хорошими платьями, а у вас всякая дрянь на первом плане лежит, белья же совсем некуда девать... И чего вы всю эту дрянь копите? Куда все это девать?

В глазах Лизы я не имела совсем авторитета. Когда я занималась живописью, то носила скромные платья, не говоря уже о том, что руки и фартуки у меня часто бывали вымазаны краской и глиной. Лиза говорила:

– Господи, Боже мой, и отчего это вы с утра мажетесь? Я бы, если бы я была на вашем месте, ни о чем бы не думала таком, а все франтила... Вы посмотрите, любая скромная дама, и не такая богатая, как вы, так и та наряднее вас... А что эти старинные вещи, так вот уж как они мне надоели...

Храм Святого Духа

Моя школа во Флёнове взяла столько моих сил, симпатий и преданности, что я уже смотрела на нее как на нечто стойкое, прочное, вполне установившееся, и мне захотелось увенчать свое создание храмом Божиим. Мы долго искали место для церкви, ездили и ходили вокруг Флёнова, обсуждали этот вопрос со всех сторон и наконец нашли. Это было восхитительное место, лучше которого вряд ли возможно найти для церкви. Оно точно для того и было предназначено. Здесь, рядом со школой, на высокой красивой горе, покрытой соснами, елями и липами, с необозримым кругозором, положено было основание храму во имя Св. Духа. Хотелось дело любви – школу – увенчать неугасимой лампадой – церковью, хотелось, чтобы десница Господня с вершины этой горы из века в век благословляла создание любви – народную школу, где в классах, на полях, в лесу, в огородах, в труде шевелился бы маленький люд, раздавался веселый смех, где совершалось великое дело: из темных дикарей выходили люди...

За последние годы, изучая русское искусство, я убеждалась все сильнее, что русская архитектура, имея перед собой великое прошлое, ничего из него не вынесла, ничем его не обогатила. Заносное же западное влияние, примененное в нашем климате, пагубно отозвалось в этом деле. Я всегда была решительным врагом итальянских вкусов на фоне русской природы. Прежде чем выработать проект, не доверяя себе, я обратилась к профессору Прахову, думая в нем найти практика. Он взялся сделать мне модель церкви и, поселившись у меня летом в Талашкине, клеил и лепил эту модель. Но Прахов совершенно не понял моей идеи. Модель его изображала грузный колоссальный собор о пяти куполах, напоминающий Владимирский в Киеве и совершенно не подходящий к типу скромной деревенской церкви, причем у него было еще намерение снабдить меня какими-то скверными мраморами, вывозимыми им откуда-то из Италии и рекомендуемыми всем. Увидав то, что предлагал мне Прахов – это в деревне-то строить собор, –

я поняла, что ошиблась, обратилась не туда, куда следует, поблагодарила его, уплатила за модель и поручила архитектору Суслову сделать мне проект деревянной церкви. Но и Сулов не понял меня и подкатил мне ни более ни менее, как семиглавый собор!!! Расставшись и с ним, я поняла, что мне придется добиваться самой. Но, не зная, как приняться за это, я взяла в помощники Барщевского, и вот, под мою диктовку, шаг за шагом, по кусочкам мы клеили, ломали, снова клеили, лепили, добиваясь той формы, которая удовлетворила бы меня.

Музей «Русская старина»

Еще при жизни мужа я стала хлопотать о том, чтобы город дал мне какой-нибудь кусок земли, на котором бы я могла выстроить здание для музея. Так как это должен был быть музей русской старины, и в большей своей части смоленских древностей и этнографии, то я задумала поместить его в старинную обстановку, которая так бы гармонировала с содержанием. И вот рассмотрела я одну из башен старинного смоленского кремля.

Город, к которому я обратилась с просьбой дать мне землю для музея, не нашел ничего лучшего, как предложить мне огромный пустырь, за стеной, в совершенно глухом месте (далеко позади Сосновского бульвара). Это был просто кусок вала и рядом огромная яма. Весь грунт в этом месте был наносный, и, чтобы построить там здание, надо было бы вывести фундамент в два раза выше обыкновенного, дабы здание стало на поверхность земли.

Выручила меня Киту, предложив мне построить музей на ее земле, на том месте, где когда-то стояла рисовальная школа. Я, конечно, с радостью согласилась. Таким образом, за Молоховскими воротами, по Рославльскому шоссе, рядом с маленьким домом, в котором мы всегда останавливались наездами в город, возник музей. Постройка его была задумана самым практичным способом. Я применила на ней весь опыт, вынесенный мной из заграничных путешествий по музеям...

В Смоленске я вообще не видала никакого сочувствия к своей деятельности.

Революция 1905 года. Спасение музея. Увлечение эмалью

Спустя несколько дней мы прочли в газетах, что в Строгановском музее в Москве брошена была бомба, принесящая большой вред. Это было для нас последним ударом, этого мы не предвидели. Я стала опасаться того же для своего музея. Если не могли охранить казенный музей в Москве, то чего же было ожидать в Смоленске после того, что сам губернатор не ручался ни за что. Если в Москве казенное учреждение не могло быть ограждено от такого безобразия, то чего же ожидать в маленьком провинциальном городе без охраны и войска? Я немедленно написала Барщевскому письмо, чтобы он тотчас же уложил все самое ценное в ящики и послал в Париж ко мне, в музей оставил бы только грубые деревянные доски, сани, экипажи, грубую утварь – все, что не составило бы интереса для громил. С подобными указаниями я послала в Смоленск и Лидина, прося его помочь Барщевскому. Не могу сказать, что я пережила за это время, каждую минуту ожидая из Смоленска каких-нибудь дурных известий. Когда, наконец, вещи приехали в Париж благополучно, нервы не выдержали, вся надсада, в какой я провела последние два месяца, выразилась в сильнейшей нервной болезни, заглушившей все душевные страдания и продержавшей меня между жизнью и смертью в постели два месяца, в полном нравственном оцепенении.

После многих трудных опытов и усилий мы стали достигать желанных результатов, и мне наконец удалось обновить свою палитру. Мало-помалу являлись желанные тона, и чем дальше, тем работа становилась легче. В конце концов я получила больше двухсот тонов непрозрачной эмали, выдерживающих сильнейший огонь и не боящихся никаких кислот.

Мне захотелось восстановить забытый и брошенный еще с XIII века способ изготовления так называемой «выемчатой» эмали, по-французски – «chempleve». Способ этот очень труден, потому что нужно готовить большие площади вынутого, выдолбленного металла, оставляя

между этими площадями выпуклые части, составляющие контуры рисунка. Эти выпуклости иногда так узки, что едва составляют границы для двух различных тонов, которые не должны сливаться между собой, иначе вся работа пропадает. Эмалевое дело настолько заброшено, что не только красок, но нет и инструментов, кроме самых примитивных, так что мне пришлось многое придумать самой. Постепенно моя мастерская превратилась в механическую, с электрическим двигателем, гальванопластическими ваннами для золочения, размалывающими, полировочными, выпиливающими машинами и всевозможным материалом для обработки металлов.

Наконец, я решила выступить в Национальном обществе изящных искусств, где бывает очень серьезная передовая выставка. В это общество очень было трудно попасть, потому что оно интересуется главным образом живописью и мало места уделяет прикладному искусству, так называемому «art preséieux». Не имея никого знакомого в этом обществе, несмотря на то что Лалик любезно предложил мне выставить мои произведения на суд жюри под его именем, я все же решилась самостоятельно послать мои вещи, и велика была моя радость, когда пришли мне сказать, что я была принята единогласно.

Накануне открытия выставки министр изящных искусств, господин Дюжарден-Бомец, обходя залы выставки в сопровождении всех членов общества и нескольких художников, остановился перед моей витриной, долго любовался ею и, как мне потом передавали, громко воскликнул: «Вот, господа, я давно говорю, что эмалевое дело во Франции падает. Посмотрите, мы дожили до того, что иностранцы приезжают учить нас». Он тут же выбрал из моих вещей блюдо для Люксембургского музея и поручил одному члену общества переговорить со мной о цене. Успех этот был мне очень дорог, и я не только продать, но подарить готова была им это блюдо, но они заплатили мне ту цену, которая была выставлена на вещи при отсылке ее на выставку. С этого дня общество и художественная печать признали мое искусство, и отзывы обо мне были настолько благоприятны, что ко мне обратились некоторые любители, и я продала коллекционерам несколько вещей.

Так я создала себе имя. Во Франции было мое крещение, и я бесконечно останусь ей благодарна. Прием, оказанный мне французами, был такой сердечный, меня так обласкали, что я никогда не забуду этого и навеки останусь нравственно связанной с ними *<Княгиня М.К.Тенишева была избрана действительным членом Общества изящных искусств в Париже и членом Союза декоративно-прикладного искусства в Париже. В 1916 году, уже в России, она защитила диссертацию «Эмаль и инкрустация»>*.

Параллельно с эмалевым делом мне хотелось поработать и для России, насколько это было возможно в новых условиях. Разместив в моем доме коллекцию предметов русской старины, вывезенную из музея, я показывала ее любителям, коллекционерам, художникам, людям, интересующимся русским прошлым. Некоторые из них пришли в такой восторг от виденного, так увлеклись им, что стали повсюду кричать и расхваливать мой музей. Прослышав об этом, ко мне потянулись луврские хранители, представители «Прикладного искусства», и в конце концов мне было предложено министром изящных искусств Дюжарден-Бомец, тоже посетившим мои коллекции, выставить их в залах Лувра, в отделении «Прикладного искусства». Мне были предоставлены четыре колоссальные залы и все витрины в pavilion Marsans. Я, конечно, согласилась. Мне доставляло большую радость показать французам, какая у нас есть прекрасная старина, тем более что французы совсем никакого понятия о ней не имеют и вряд ли допускали что-нибудь самобытное, оригинальное и богатое в прошлом русского искусства.

На следующий год я надумала показать Парижу талашкинские произведения и познакомить его с кустарными работами наших крестьянок *<В Центральной библиотеке изящных искусств в Париже хранился альбом «Вышивки смоленских крестьянок, выполненные под руководством княгини Тенишевой»>*.

Я выписала все оставшиеся у меня на руках после закрытия «Родника» и мастерских вышивки и деревянные изделия, наняла залу на рю Комартен и устроила выставку, носящую

национальный характер. Кроме того, я пригласила участвовать Рериха, который выставил несколько картин, Билибина, приславшего несколько акварелей, Щусева и Покровского, давших талантливые эскизы церквей.

На открытие я прислала приглашения, и приехало много любопытных, которые давно слышали о моих планах. Успех выставка имела с первого дня, вещи понравились, заинтересовали и художников, и профанов, раскупались очень бойко, так что я с радостью убедилась в неосновательности своих страхов. Вся пресса единодушно заговорила о нашей выставке в самых лестных выражениях. Среди покупателей промелькнуло множество известных лиц, художников, коллекционеров, любителей, артистов, как, например, Сара Бернар и художник Кларен, который так восхитился моей выставкой, что протрубил о ней всюду и один привел много публики. Не было дня, чтобы он не являлся на выставку и не уносил с собой какой-нибудь вещицы. Торговля шла так бойко, что скоро ни одного предмета не осталось. Я, конечно, не выручила затраченных денег, даже части их, но, несмотря на это, мне был очень приятен сочувственный прием нашему родному искусству.

Обе мои парижские выставки сильно отразились на модах и принадлежностях женского туалета. Год спустя я заметила на дамских туалетах явное влияние наших вышивок, наших русских платьев, сарафанов, рубах, головных уборов, зипунов, появилось даже название «блуз рюсс» и т.д. На ювелирном деле также отразилось наше русское творчество, что только порадовало меня и было мне наградой за все мои труды и затраты. Было ясно, что все виденное произвело сильное впечатление на французских художников и портных. На улице Комартен, где была наша выставка талашкинских изделий, перебывали не только любители, артисты и любопытные, но также фабриканты материй и вышивок, ищущие всюду каких-нибудь новых мыслей и узоров.

Возвращение домой

В 1908 году, после двух с половиной лет пребывания за границей, мы вернулись в Талашкино! Сердце замирало, когда мы сели в поезд, чтобы ехать на родину. Какой-то затаенный страх, неизвестность пугали воображение. А минутами становилось даже весело, любопытно. Ведь ехали-то мы домой, к себе, туда, где столько оставлено труда и любви. Норд-экспресс шел быстро, все ближе и ближе мы становились к родным местам, и в голове толпились воспоминания, мелькали лица, страницы прошлого, то веселые, то грустные, то страшные... Все смешивалось в голове, перепутывалось, а где-то в душе тревожно поднимался вопрос: что я увижу?..

Я же теперь живу на кладбище. Куда ни взглянешь: направо – бывшая мастерская, налево – замолкший, заглохший театр, свидетель былого оживления и веселья, там за лесом – бывшая школа. Театр пустует, в нем склад ненужной мебели, запас материалов. В школе тоже половина классов пусты, сиротливо глядят со стен картины, пособия, коллекции. Мне больно это, но я гляжу на все как на роковую Волю свыше. Должно быть, это так надо. Пролетела буря, нежданная, страшная, стихийная... Затрещало, распалось созданное, жестокая, слепая сила уничтожила всю любовную деятельность. Все разметала, разогнала, разрушила, школьных птенцов разнесла, мастеров разогнала... Натешилась, утихла буря, но замолкло все, кругом все умерло, не слышать смеха и пения, оживления и стука. Там, где была школа, – тишина. А над ней, высоко на горе, стоит одиноко на вершине венец дела любви – храм. Во время заката уныло гляжу я с балкона на пламенеющий крест, горю, страдаю и по-прежнему люблю...